

Политика и поэтика в теориях заговора

Илья Яблоков

Кандидат исторических наук, доктор философии,
преподаватель Университета Лидса (Великобритания).

Тигран Амирян

Кандидат филологических наук, литературовед (Москва),
преподаватель Института гуманитарных наук
Российско-армянского университета (Ереван).

Полина Колозариди

Младший научный сотрудник лаборатории политических
исследований факультета социальных наук Высшей
школы экономики (Москва).

Полина Колозариди: Откуда берутся теории заговора — вопрос, который тревожит и тех, кто в них верит, и тех, кто относится к ним в высшей степени скептически. Есть надежда, что академические исследования могут объяснить происхождение этого феномена. Как исследователи данного феномена, какие основные вопросы вы перед собой ставите? И вообще откуда берутся теории заговора?

Илья Яблоков: Прежде всего мы должны ответить на два вопроса: почему теории заговора появляются в современном мире и почему они становятся чрезвычайно актуальны в постсоветской России? Для этого необходимо найти методологическую модель, которая поможет нам на этот вопрос ответить. Американский политолог Марк Фенстер предложил считать теории заговора своеобразным политическим инструментом перераспределения власти между различными социальными или политическими группами.

П. К.: Расскажи, как эта методология работает.

И. Я.: Теории заговора помогают компенсировать недостаток собственной власти и политической легитимности через об-

винения своих оппонентов в заговоре. Эти теории буквально говорят:

Мы — в оппозиции, у нас нет власти. Но в оппозиции мы не потому, что слабые или никому не нужны, а потому, что нас лишила власти маленькая группа людей.

П. К.: А как эта идея применяется в политике?

И. Я.: Если подобная мысль вносится в политическое пространство и ее целью является один из действующих в политическом поле акторов, то результатом этого действия становится потеря легитимности политического актора, обвиненного в заговоре. Это происходит потому, что люди начинают верить, что актер-«заговорщик» нелегитимен, ведь он достиг власти путем заговора. Одновременно с этим признание собственного статуса «жертвы заговора» повышает легитимность тех, кто распространяет подобные идеи. Поэтому, используя теории заговора, политики часто повышают собственную популярность и достигают поставленных целей.

П. К.: Если взглянуть на Россию, то что мы можем узнать из теорий заговора о современной России?

И. Я.: Внимательный анализ теорий заговора позволяет оценить влияние каждой из политических идеологий. Если смотреть на российскую политическую сцену, то можно легко обнаружить различные теории заговора, распространяемые и националистами, и либералами, и прокремлевскими политиками, которые, используя подобные идеи, стремятся подорвать легитимность своих политических оппонентов. Другое дело, что некоторые теории заговора получают большее распространение в силу неравномерности доступа тех или иных политиков к медиа. И мы их замечаем больше, чем другие теории. К примеру, теории еврейского заговора вплотную ассоциируются с радикально националистическими кругами, но поскольку они достаточно сильно маргинализованы, то и антисемитские теории заговора оттеснены на обочину политического дискурса. Равно как и либеральная конспирология оказывает эффект на очень узкий круг людей. Тем не менее и либералы нередко апеллируют к подобным идеям, критикуя власть. А идея о заговоре Запада против России в целом уже стала мейнстримом.

Язык заговора и легитимность

П. К.: А как можно описать язык заговора, ведь он позволяет артикулировать недостаток легитимности и власти?

Тигран Амирян: Сегодня любая попытка говорить о конспирологии чаще заводит в тупик; возникает дискурсивный вакуум, препятствующий дальнейшим исследованиям этого сложного феномена. По крайней мере, это происходит в тех сплавлениях различных дискурсов, которые мы наблюдаем в современной России. То есть выходов из этой конспирологической реальности почти нет. У нас практически отсутствует аналитический аппарат, способствующий объективному исследованию конспирологии независимыми экспертами. Любая попытка анализировать конспирологию превращается в саму конспирологию. Это делает Дугин, например: вроде бы пишет книгу о конспирологии, но при этом его политическая ангажированность приводит к тому, что в книге он создает еще одну конспирологию. А необходимость открытого поля для дебатов очевидна. Илья начал говорить о постсоветском политическом пространстве, в связи с чем нам нужно всегда иметь в виду, что современное государство, о котором мы рассуждаем, возникает в результате заговора. Огромная масса популярной литературы самых разных жанров, самые различные источники в интернете — почти все повествуют о современной России как о государстве, которое берет свое начало с топоса «заговора». Замечу, что начало этого периода не маркируется больше «революцией». «Революция» становится нарративом прошлого, на смену приходит другое государство, определяющее свое начало совершенно новым понятием. Для меня очевидно, что если даже новая машина власти попытается разубедить аудиторию в том, что в начале 1990-х годов заработал импульс «заговора», то вряд ли у нее получится что-то толковое. И все потому, что она сама, эта властная инженерия новой формации, постепенно избавлялась и теперь почти окончательно избавилась от конкурентного поля. Теории заговора — это всегда конструируемые нарративы, которые очень уязвимы лишь перед лицом других конспирологических нарративов. Однако сегодня мы имеем дело с эпохой, с пространством, из которого постоянно вытесняется всякая амбивалентность как таковая. Теперь мы имеем дело с очень «закрытым» нарративным целым. Поэтому я бы говорил о ситуации безвыходности. Когда нет «одного» и «другого», сложно говорить о границах между ними. Но по-

добные попытки разграничения, в смысле различения, мы видим в других странах.

П. К.: В каких, например? Теория заговора — это универсальный феномен? Как к его изучению подходят исследователи в других странах?

Т. А.: К примеру, французский социолог Люк Болтански в книге «Тайны и заговоры» пытается показать неуловимую и почти прозрачную грань между двумя дискурсами — аналитическим дискурсом исследования заговора и медийным дискурсом детективного расследования. Он показывает грань между социологом и журналистом, между детективным персонажем и социологом. Эта грань очень тонкая и очень опасная, ее трудно соблюдать. В нашем случае сложность заключается, во-первых, в отсутствии собственного научного фундамента в виде собственного опыта обсуждения этого явления; во-вторых, в монолитности политического режима, при котором объект исследования, то есть политическая власть, стирает все различия и делает это активно и агрессивно. И наконец, вопрос в том, насколько мы готовы и сможем ли плодотворно использовать все эти наработки западных коллег. Во Франции подобное исследование возникло в качестве критики социологии Бурдьё: то, что называется прагматической социологией или социологией «после Бурдьё».

П. К.: Но если вернуться к вопросу о «закрытости» конспирологического нарратива, то возникает впечатление, что люди, которые пишут о конспирологии, вынуждены становиться героями повествований о конспирологии.

Т. А.: Иногда да. И здесь можно перенести опыт наблюдения за художественными текстами на близкую нам политическую ситуацию. Это хорошо видно на примере последних событий с Украиной. Даже те политологи, которые не были ранее замечены в производстве конспирологического дискурса, которые просто пытались понять, что произойдет дальше, регулярно использовали термин «сценарий»: какой же сценарий будет дальше — чехословацкий или абхазский? Это попытка нарративизировать реальность и попытка объяснить реальность с помощью каких-то больших нарративов, взятых из прошлого. Все дебаты автоматически превращаются в игру на грани утопии и антиутопии. Когда политологи и публицисты говорят о возможных «сце-

нариях», это всегда предполагает две вещи. Во-первых, все интенции власти являются тайной для общества, и здесь мы видим автоматическое разделение на «большое» и «маленькое» общества, на закрытое и открытое. А политологи выступают в роли условных детективов, которые с помощью улик и знания истории повествуют «большому» обществу обо всех действиях власти, совершаемых и ожидаемых. Политологи и СМИ становятся подобным агентом между двумя типами общества. Во-вторых, возникает ситуация, очень близкая сюжету романа «Маятник Фуко», когда, конструируя различные рассказы о заговоре, повествователи незаметно для себя вовлекаются в реальный заговорщический план. Это хитрости языка, которыми конспирология всегда охотно пользуется как главным инструментарием. Фальсифицируются не предметы и артефакты, фальсифицируется сам рассказ о реальности.

П. К.: Как мы можем, исследуя художественную литературу, понять язык заговора в окружающей реальности и политике? Ты ведь недавно опубликовал монографию о языке заговора.

Т. А.: На мой взгляд, анализ художественных текстов довольно успешно должен способствовать изучению конспирологического дискурса в политике. Конспирологический дискурс всегда стремится к тому, чтобы разрушить сам принцип «различения», потому что главная его цель — это вера аудитории в те повествования, которые он продуцирует. Это практически совпадает с интенциями романиста, который создает идеальный и максимально приближенный к реальности мир. Однако с художественными текстами работа ведется немного иначе, так как у литературоведов есть четкое понимание конвенциональности, на которой держится сам исследовательский принцип. О политическом дискурсе мы не можем сказать однозначно, что это изначально вымысел, что сам принцип фикциональности создает некий буфер между «реальностью» и «повествовательностью». Политический дискурс в этом отношении более эффективно или даже агрессивно стремится блокировать возможность создания всякого метаязыкового инструментария, который можно было бы применить к его собственной структуре.

П. К.: Существует ли читатель конспирологий в России и есть ли конспирологический роман, столь же популярный, как на Западе? Как вообще обстоит дело с конспирологическим романом в Рос-

сии? На Западе есть Дэн Браун и Томас Пинчон, существует целая культура детективного романа, основанного на идее заговора. Взять хотя бы «Маятник Фуко» Умберто Эко.

Т. А.: Хочу заметить, что мы часто обманываем себя, когда говорим о западном типе конспирологического романа, который у нас отсутствует. У нас нет хитов, массовых романов, бестселлеров, которые смогли бы покрыть все лакуны, существующие в популярном чтении. Но это другая проблема, связанная с потенцией русской словесности вообще. При этом русская литература постсоветского времени (а мы сегодня говорим об этом периоде) насквозь пропитана идеей тотального заговора, от романов Сорокина до акунинских экспериментов в масслите, когда автор вполне осознанно создавал репрезентативную формулу русского конспирологического детектива, — везде прослеживается тема некоей невидимой реальности, существования двух типов обществ (закрытого и открытого). Анализируя популярный конспирологический текст, востребованный не в одной, а во многих странах, переведенный на многие языки, можно проследить особенность структуры и архитектоники этого текста. Конспирологический роман выстраивается как ансамбль поверхностных знаков. Это мифы об истории, поверхностные знания об истории, которые соединяются друг с другом посредством самых примитивных нарративных сцеплений. И такие авторы, как Борис Акунин, Арсен Ревазов, Алексей Евдокимов и некоторые другие, держали руку на пульсе мирового литературного процесса, создавая достойные «ответы», «реплики» и пародии на западные конспирологические романы.

П. К.: В чем особенность этого знания? И как эти поверхностные знания могут вызывать веру в рассказываемые истории?

Т. А.: Эта поверхностность натолкнула меня на мысль, что герой этих романов, субъект, находится всегда в пассивной позиции, всегда подчинен некоему заданному плану. Мало того, что это детективные романы, а значит, герои изначально подчинены жесткой структуре детектива, реконструкции истории как детективного расследования, — они еще подчинены каркасу заговора, конспирологическому сюжету. Эта пассивность почти совпадает с пассивностью психоаналитической. В психоаналитическом плане параноик, который верит в заговоры, — это пассивное существо, которое всегда перекладывает ответственность на другого,

постоянно произнося «это Они». «Они» не определены, находятся за пределами того пространства, где существует его реальность. Он сам существует в одной реальности, очерченной его повседневностью, бытом и так далее, но при этом он себя всегда ставит в пассивную позицию, чтобы активную позицию отдать некоему Большому Другому.

И. Я.: Да, Большой Другой и является истинным «центром власти» для этого персонажа. Вот тут и получается, что анализ политической риторики и анализ художественной литературы сходятся в одной точке: условно слабый противостоит условно сильному. И этот конфликт — центральный для любой политической системы современного мира, не важно — демократии, авторитаризма или жесткого тоталитаризма.

Корпорации, глобализация и заговор: как перестать беспокоиться?

П. К.: Получается, что независимо от того, какая политическая система, теория заговора будет все равно существовать. А по мере развития технологий и глобализации разные страны будут разделять один и тот же конспирологический нарратив?

Т. А.: Глобализационный процесс требует более крупных заговоров. Нужны заговоры, направленные не просто на отношения между Россией и Украиной, Россией и США, а глобальные заговоры, заходящие далеко за пределы национальных государств.

И. Я.: Теория мирового правительства, Бильдербергский клуб — типичные примеры таких теорий.

П. К.: Да, посмотрите на современные конфликты вокруг двух глобальных тем: развития технологий и проблем экологии. С одной стороны, они повторяют риторику конфликта природы и культуры, которая является почти ровесницей национальных государств. Но сам язык этой риторики сегодня использует нарративы теории заговора. Так, представление о том, что «интернет придумали американские военные, чтобы захватить мир», — часть той самой борьбы за власть и легитимность. В каждой второй публикации на тему вредности интернета одно и то же: это продукт глобального сговора. В нем участвуют корпорации и американское правительство, отсюда и «твиттер-ре-

волюции», слежка за данными в фейсбуке. Или экологическая тема невозможна без заговорщиков, которые то договорились поставлять фреон, то решили его запретить. На уровне простого обывателя — идея о том, что корпорации сговорились добавлять в еду генно-модифицированные продукты, чтобы разрушать естественную человеческую среду обитания. Кажется странным, нерациональным, но это работает во всех странах и не теряет популярности, хотя, повторю, этим идеям про «природу против техники» уже не одна сотня лет.

И. Я.: Теории заговора о том, что корпорации контролируют мир, изначально появились в США и потом, по мере глобализации мира, стали поистине международными. Невероятная власть и технические возможности, которые получили корпорации и банки в современном мире, безусловно, вызывают страх у некоторых людей, столкнувшихся с тем, что мир стал другим. Сложно быстро осознать, что новые коммуникации до неузнаваемости изменили мир и теперь экономические проблемы в одной стране могут легко обрушить экономику десятка других государств. Транснациональные корпорации стали важными международными игроками, обладающими огромной властью. Справиться с ними невозможно, контролировать практически нельзя. А ведь жизнь обычного человека все больше стала зависеть именно от корпораций: от еды, которую они производят, от техники до лекарств. Если человек настолько зависим от них, но не обладает возможностью их контролировать, неудивительно, что появляются теории заговора, описывающие корпорации как источник зла.

Теория заговора как норма

П. К.: Из такого исторического объяснения можно предположить, что теория заговоров и ее существование в современном обществе — это нормально, и нам с этим ничего нельзя сделать. Каким образом тогда мы должны инструментально к этому подходить? Тигран говорит, что это язва, порок, что мы не должны применять используемый ими язык, положить их в черный ящик. Каково твое мнение по этому поводу?

И. Я.: В любом обществе есть определенный дисбаланс в социальных, экономических, политических, культурных отношени-

ях между людьми. Некоторые группы общества чувствуют себя лишенными возможности самореализации или возможности быть услышанными. Часть этих людей может находить причину своей «ущербности» в чем-то злом заговоре. Подобные дисбалансы есть в любом обществе. Следовательно, если мы фиксируем наличие теории заговора в обществе, мы должны анализировать этот феномен как проявление нездоровья данного общества. Значит, что-то в обществе не так. Мы должны проанализировать теорию заговора, посмотреть, какие в ней бытуют темы, из каких нарративов она состоит, кто разделяет эти идеи и по какой причине.

П. К.: Как нам быть уверенными в том, что мы сами в этот момент не заговорщики? Тигран начал с того, что если мы начинаем разоблачать теорию заговора, то мы сами оказываемся заговорщиками. Ты довольно давно и подробно занимаешься этой темой. Если коротко сформулировать, то какой должна быть исследовательская позиция, чтобы не быть ангажированной?

И. Я.: Проблема в том, что если мы подбираем такой ангажированный глагол, как «разоблачать», то это означает, что для нас теория заговора уже является неким маргинальным, негативным феноменом. Мы можем начать всюду выискивать теории заговора и порицать тех, кто ими увлекается. А это уже само по себе будет определенной формой психических проблем, только не у объекта исследования, а у самого исследователя. Этого бы хотелось избежать. Давайте воспринимать это явление как маячок, как сигнал обществу, политикам и академическому сообществу о том, что что-то в обществе не так. Надо обратить внимание на эту проблему и постараться ее решить.

Теория заговора как дефект публичного поля

Т. А.: Илья прав, но совсем избегать маргинального статуса конспирологий сложно. Есть определенные риски, которые мы должны учитывать. Ханна Арендт в своей книге о зарождении и развитии тоталитаризма постоянно возвращается к вопросу пропаганды и теории заговора. Она говорит: это настолько опасно, что может привести к созданию тоталитарного режима, последствия которого нам хорошо известны. Может быть, я пессимистичен, но действительно: так как мы не видим, что подобные идеи при-

вели нас как минимум к двум геноцидам, мы рискуем вновь оказаться в катастрофической ситуации, закрывая глаза на влияние теорий заговора на политический язык.

П. К.: Кто «мы»?

Т. А.: «Мы» — это современные СМИ и, вслед за ними, современное российское общество. Люди играют с таким огнем, что даже не могут представить себе, к чему это может привести. Это ситуация, когда политическая и медийная риторика очерчивает понятие «врагов общества», когда публично обвиняют каких-то невидимых врагов, а потом постепенно разворачивают этот дискурс, пытаясь повесить «вражеские медали», как знаки, на определенные национальные, сексуальные и прочие группы.

П. К.: Ты говоришь «мы», но все-таки мы, собравшиеся здесь, не политтехнологи и не журналисты, занимающиеся этим в ежедневном режиме. И при этом мне кажется, что мы, собравшиеся здесь, не можем снять с себя ответственность, потому что мы занимаемся производством научного продукта (если говорить о том, что все что-то да производят). Илья ответил, что мы, как ученые, можем разложить эту теорию заговора по полочкам и дать сигнал обществу через какие-то более прозрачные каналы. Но может ли научное сообщество что-то с этим сделать? И не будет ли это разоблачением, созданием новой конспирологии, только на непонятном языке?

Т. А.: Нет, дело не в непонятном языке. Мы можем из любого непонятного языка сделать научпоп. Дело не в этом, а в том, что в США и в демократических странах в целом присутствует динамика политического процесса, а у нас — нет.

П. К.: Но дело ведь не только в политическом процессе, но и в публичном языке, в первую очередь в объяснении того, как устроен мир. Люди пытаются понять это, но наталкиваются на закрытость или сложность языка академического сообщества, на его нежелание что-то объяснять или менять взгляд на старые феномены. Соответственно, и журналисты с публицистами, и их читатели начинают прислушиваться к более понятным объяснениям.

Приведу пример из своей области исследований: многие ученые, когда начинают писать об интернете и медиа, начинают с того, что все это — мнимые реальности. Какие-то термины бе-

рутся у Жана Бодрийяра, какие-то — из марксизма. И получается, что все происходящее «в интернете» — это виртуальное, ненастоящее, фальшивое. А за этим стоит подлинная реальность, которая искажается псевдоотношениями в социальных сетях. Нередко при этом упоминается, что и сам интернет — это продукт заговора корпораций, в который нужно втянуть как можно больше доверчивых пользователей.

И эта нехитрая мысль идет в народ, а потом и к чиновникам. Чиновники, даже если захотят заказать экспертизу своих идей про суверенный российский интернет, пойдут к тем же ученым. И ученые им скажут: все, конечно, очень сложно, но, конечно, виртуальный мир придумали в Америке и с помощью социальных сетей устраивают оранжевые революции. Как разделить здесь экспертный и научный нарратив? Непонятно.

Т. А.: Да. На наш постоянный общественный монолог — отсутствие общественного диалога. Мне кажется ключевой неспособность к договору — не только у больших сообществ, но и у научных сообществ. Равно как и отсутствие методологии и исследований сегодня — трансдисциплинарный анализ у нас есть, но на самом деле его нет. У нас нет диалога между разными дисциплинами, между разными областями знания. У нас есть конкуренция, но нет диалога.

И. Я.: В России в целом очень сложно с культурой диалога и нормального обмена мнениями. Но мне еще кажется, что здесь проблема заключается в том, что теория заговора не изучается в России. Для подавляющего большинства академического сообщества теория заговора — это маргинальное знание: либо от него бегут, либо его не понимают. Российское академическое сообщество по большей части исключено из мировых процессов. Кроме нескольких сотен ученых, академическое сообщество не интегрировано ни в европейскую академическую жизнь, ни в американскую. Эта исключенность из глобального интеллектуального сообщества и не позволяет адекватно воспринимать какие-то очень специфические, но актуальные вещи.

П. К.: А второе?

И. Я.: Теория заговора до сих пор остается технологией в политической борьбе. Люди, понимающие, как она работает, ее используют. Но применяют ее очень утилитарно и часто сами становятся

ся жертвами создаваемых страхов. В обществе не отрефлекси-
ровано значение теорий заговора и, самое главное, их политический
потенциал, позволяющий инструментализировать эти идеи на ре-
гулярной основе.

Москва, 17 июня 2014 года